

ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО БЕЖЕНСТВА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ П. ГЕТРЕЛЛА

Первая мировая война, один из крупнейших международных конфликтов XX в., до сих пор продолжает привлекать пристальное внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. Отечественная историография Первой мировой войны насчитывает большое количество работ, посвященных военным, дипломатическим и экономическим проблемам данного периода [1]. Однако, как справедливо отметил Г.З. Иоффе, «в изучении социально-экономических пертурбаций военных лет освещены еще не все грани такой проблемы как ... беженство» [2]. Последняя, не являясь предметом специального исследования в советской историографии, и в современной исторической науке комплексного изучения также еще не получила.

Зарубежная же историография в этом отношении добилась более значительных результатов. Имеется в виду недавно вышедшая монография и целый ряд статей английского историка Питера Гетрелла, где автор делает попытку комплексного, целостного рассмотрения указанной темы [3]. Он предлагает концепцию феномена беженства, анализ некоторых положений которой и является целью настоящего сообщения.

Гетрелл полагает, что если в целом военный опыт России можно считать достаточно типичным, то процессы перемещения населения (принудительного и добровольного) он характеризует как беспрецедентные. Их масштабы были столь велики, что, отмечает историк, уже в 1915 г. беженство отчасти предвосхитило «перевернутое вверх дном общество» времен Гражданской войны. Оно не только подвергло официально утвержденную сословную иерархию общества серьезному испытанию, но и «подрывало такие более современные разновидности групповой принадлежности и идентичности, как те, что были связаны с профессией и классом в развивающейся капиталистической экономике.» Быть беженцем означало «находиться за пределами существующих границ общества, ожидать на краю социальной жизни в надежде на определение своего статуса» [4].

Кроме того, срочность и значительность масштабов перемещения во многом способствовали также созданию образа «уставшего, больного, выселенного и лишенного своего имущества беженца» с особым акцентом на «сочетание деградации и беспо-

мощности» [5]. В связи с этим большое внимание автор уделяет деконструированию универсального нарратива «беженства», созданного общественными организациями, национальными комитетами и правительственными ведомствами. По мнению Гетрелла, термин «беженец» «скрывает многочисленные различия по национальности, полу, возрасту, профессии и социальному статусу, которые стирались и стираются в процессе конструирования беженства» [6].

Подобным попыткам «коллективизировать» и «унифицировать» беженцев с наибольшей степенью очевидности противостояли (хотя полностью и не вытесняли их) мероприятия, принятые «по национальной линии». Именно в языке этничности, считает исследователь, многие беженцы «находили мощное средство противодействия тому негативному дискурсу, который неизбежно породило перемещение населения». Из-за опасения появления смешанной культуры, уничтожающей национальные особенности, риторика помощи допускала утверждение, что, например, латышские беженцы имели «нужды», отличные от таковых у армян, русских и евреев. В интересах национальных меньшинств были созданы разнообразные школы, мастерские, столовые, клубы, приюты и другие учреждения для беженцев, членство в которых «в определенной степени говорило о том, что это означало быть поляком латышом, армянином или евреем» и значительная часть образовательной и культурной деятельности в которых была направлена на поддержание чувства верности к родине. Однако этничность отнюдь не являлась единственным или же постоянным атрибутом. Имея способность отвергать иные формы идентичности, она сама могла быть отвергнута и прежде всего притязаниями классового сознания, которое с непреодолимой силой проявилось в 1917 г. «Патриотические лидеры, – пишет Гетрелл, – наносили на карту один маршрут к освобождению, но не все беженцы обязательно принимали эту картографию, ... рассматривая родину с точки зрения классовой структуры и экономического угнетения» [7]. Тем не менее беженство «легитимизировало и трансформировало возможности для национальной агитации со стороны укреплявшейся патриотической интеллигенции, многие представители которой стали главами независимых государств после 1917–1918 гг.». Беженство «научило их искусству управления, а также приучило некоторых беженцев думать «по-национальному» [8].

Языковые, культурные или религиозные различия, считает историк, не отчуждали российских беженцев и не препятствовали их социализации «в более широком контексте, чем рамки бежен-

ской общины». Некоторые беженцы проявляли готовность отказаться от своего особого статуса и приспособиться к новым условиям жизни. Так, отмечает автор, несколько тысяч беженцев согласились поселиться в отдаленных районах Европейской России и Сибири, «отвергая статус временных жителей в попытке отказаться от ярлыка «беженец» и стать «невидимыми». Другие, особенно нерусские беженцы, наоборот, стремились избежать перспективы «растворения» во внутренних районах страны. Эти и другие истории показывают насколько сложным является получить некую суммарную оценку устремлений беженцев, даже когда они были объединены в общий нарратив различными организациями. Нельзя надеяться, подчеркивает автор, что обладание общими характеристиками – статусом перемещенных лиц – и сходным «опытом» автоматически порождало единообразное беженское сознание [9].

Гетрелл отмечает еще одно обстоятельство, связанное с феноменом беженства. По его мнению, Первая мировая война позволила общественным и национальным организациям создать и применить к беженцам «механизмы дисциплинарного насилия». Величина беженского движения способствовала прямому вмешательству врачей, преподавателей и других профессиональных работников, имевших свой взгляд на общественный долг и порядок. Фигура же беженца была в максимальной степени обезличена. Какой-либо возможности проявить инициативу или взять на себя ответственность за собственное благополучие для самих беженцев не признавалось. Даже когда беженцы «получали достоинство личного имени в напечатанном документе, это отнюдь не давало им право голоса, а скорее подчеркивало, что никто не будет забыт в проекте построения лучшего мира» [10]. В итоге неправительственные организации учредили «дисциплинарный режим», внося свой вклад в конструирование беженства и вписывая «на полотно беженства свое собственное видение будущего России».

Таким образом, П. Гетрелл представляет оригинальную интерпретацию феномена российского беженства периода Первой мировой войны и обосновывает собственную концепцию, которая может стать одним из практических инструментов при дальнейшем исследовании данной проблемы.

Литература

1. См.: *Васюков В.С.* К историографии внешней политики России в годы Первой мировой войны (1914–1917) // *Первая мировая война: дискуссионные*

проблемы истории. М., 1994; Козенко Б.Д. Отечественная историография Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2001. № 3.

2. Иоффе Г.З. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 г. // Вопросы истории. 2001. № 9. С. 85.

3. См.: Gatrell P. A Whole Empire Walking: Refugees in Russia during World War I. Bloomington, Indiana, 1999; Idem. The (Extra)ordinary First World War, 1914–1917: Perspectives on the Concept of Refugeedom // Ab Imperio. 2001. № 4.

4. Gatrell. A Whole Empire Walking. P. 197–198.

5. Ibid. P. 95–96. ...

6. Ibid. P. 202–203.

7. Ibid. P. 204.

8. Gatrell. The (Extra)ordinary First World War. P. 40.

9. Ibid. P. 35–36.

10. Gatrell. A Whole Empire Walking. P. 209.

**Д.А. Моисеев,
Н.Н. Попов
УрГУ**

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЛДАТ РУССКОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Представляя собой привилегированные слои российского общества, командный состав царской армии по своей социальной структуре был почти точным отражением господствующего класса. Армия полностью находилась в руках дворянского офицерского корпуса. В 1912 г. в Казанском военном округе (куда входил и Урал) потомственных дворян насчитывалось среди генералов 81,25%, среди штаб-офицеров, т.е. полковников, подполковников, майоров – более 73,88%, среди обер-офицеров, т.е. от капитана и ниже – 43,46% (без казачьих войск) [1]. Значительную часть командиров и начальников составляли представители буржуазии [2]. Вместе с кастовостью офицерский корпус русской армии отличала и корпоративность [3], создававшие непреодолимую пропасть между ним и массой солдат.

Многие ретивые служаки-офицеры считали солдат не людьми, а «казенными вещами», «серой скотинкой», безнаказанно оскорбляли их словесно и физически, причем защищаться солдат не имел права – за это ему полагалось строжайшее наказание. Своеволие, произвол командного состава доходили даже до убийства солдат за непослушание, как это случилось в Тюменском гарнизоне 9 декабря 1905 г. [4].